Виктор Гофман

Немая речь

Виктор Гофман

Немая речь

Художественно-издательский центр

Москва 2008

«...иль дней былых немая речь...»

А. Фет

Апрель

О, как блестят, волнуя, ледяные и рыхлый снег, и талая вода; вздохну весной, припомню дни иные, пойду, пойду неведомо куда.

Какой-то луч из жизни отдалённой пробьётся и на луже задрожит; и только ветра пыл неутолённый в сухих ветвях над слякотью свистит.

Живи вдали. Уже написан Лужин. И не казнись — мне в меру тяжело. Я лишь плыву корабликом по лужам туда, где всё случилось и прошло.

Что в этом солнцем городе залитом уже без сил ещё бродить влечёт и, щурясь, соглашаться с Гераклитом: всё на земле и тает, и течёт.

* * *

И ревёт, и лижет вол рваную ноздрю, твёрдо я его привёл прямо к алтарю.

Этот вол не знал ярма, в стойле тосковал, и отборные корма царственно жевал.

Крепко я к нему привык на полях густых, и немой его язык, может быть, постиг.

Посмотри — как он тяжёл: тучен и высок; кровь взовьётся под ножом и уйдёт в песок.

Нам с тобой не нужен жрец, флейты и цветы, просто жизни под конец жертву принял ты.

* * *

Он проходит походкой упругой из салона в Каретном ряду к мерседесу с надменной подругой, что-то в трубку рыча на ходу.

И подруга, глаза свои сузив, обращает к нему макияж... Бедный мальчик в рабочем картузе, заглядевшийся на экипаж!

Там её, укрывая крылаткой, увозил фатоватый корнет... Взял своё он заждавшейся хваткой через семьдесят загнанных лет.

Стал он всем вопреки лихолетью, как и пелось — но только сейчас, совершив революцию третью без лузги утопических фраз.

Круто он по Москве проезжает, и теперь уже парень иной долгим взглядом его провожает, возвращаясь со смены домой.

* * *

Был стройный мир и прочен, и велик, и в нём стезя прямая нас хранила, когда блистал суворовский парик у неприступных башен Измаила.

Когда своим на славу крепостям мы век земной осмысленно трудились, и плотно кости к дедовским костям в единую мозаику ложились.

Когда служили доблесть и закон опорой духу и подспорьем вере, когда стоял державный бастион в степи вселенной — и смягчал потери.

Но вот размыт спасительный оплот, и хартии разорвана страница; и зыбкий мир за окнами течёт, и нечем нам от бездны заслониться.

Замерзающий бомж

Где я кружился? Куда я бежал? Вот я сложился, как в маме лежал.

В чёрную стужу Богу шепчу: «Больше наружу я не хочу.

Мучить негоже на рубеже, Господи, Боже вот я уже».

М.А. Воронину

Жить невозможно в тупом постоянстве и комарином жужжаньи забот; всё перемелется в этом пространстве, в мутный затянется водоворот.

Не потому ль от тоски монотонной тянет и тянет ступить за порог дрожи вагонной и доли бездомной, зыбкой свободы сквозной ветерок.

Время остыло, и воля устала чахнуть смиренно средь пыли и книг — здравствуй, пронзительный запах вокзала и отправленья качнувшийся миг.

Пусть, отрешая в дороге недолгой, тянутся ровно иные края; вновь приютит меня верхняя полка, в поле плывущая келья моя.

Чтобы с минувшим в высокой разлуке, в мареве воспоминаний и грёз — всё растворить в нарастающем стуке вдаль уносящих куда-то колёс.

«...нелепая, любимая земля» К. Симонов «Поручик»

Как живётся, крошечка? Видно, нелегко. «Курочка, картошечка, водочка, пивко...»

Постоит, уносится поезд в темноту, и разноголосица смолкнет на посту.

До иного скорого хмурого в ночи, дяди, у которого кончились харчи.

Юркие, усталые стайки матерей вьются за составами, кличут у дверей.

«Курочка, картошечка, водочка, пивко…» Подожди немножечко. Станет всем легко.

Павел

о. Валентину Дронову

В ту ночь его бессонница томила, он вышел рано, поднятый тоской, и в сумерках предутреннего мира, поёжившись, пошёл на шум морской.

Он продвигался в йодистом тумане и влагу ощущал на бороде, и, как редело утро над волнами, светлело в нём — он подошёл к воде.

Как он любил у моря час восхода, когда вдали без края и конца сливаются смиренье и свобода в проникновенной близости Творца.

И все заботы о церквях и братьях, и проповедь незрячим о Христе теряются в его больших объятьях, в его неизречимой простоте.

…Неспешно тучный поднимался в гору, в раздумии качая головой, за ним — уже невидимое взору — блестело море вечной синевой.

Он миновал обратную дорогу и оглядел рассеянно жильё; позвал друзей и помолился богу, и начал в Рим послание своё.

M.X.

Что толку в дачах и копилках, когда сдаётся реквизит, ещё на дальних пересылках нас резкий ветер просквозит.

Ещё вчера судьба ласкала, и золотой фонтан плескал, а завтра — хмурые буркалы, колючий лагерный оскал.

Как знать — дотянешь до звоночка с печалью иудейских глаз или холодная заточка привычный выполнит заказ.

Мы все покорно тянем сроки в сетях спасительных забот, слепые носят нас потоки, покуда время не пробъёт.

С неотвратимостью железной затянет мощная струя; и, как планктон, у пасти бездны мы вьёмся в волнах бытия.

Утром

Осторожный, худой и небритый с голубыми пустыми глазами ранним утром бутылки на пляже собирает в мешок вещевой.

Здесь вольготно! Здесь тёплые ночи — и не знаешь забот о ночлеге, алычи и тутовника вдоволь, и на пляже бутылок пустых.

Рядом, птицы небесные, чайки по камням ковыляют вразвалку, подбирают остатки съестного и кричат в предрассветную рань.

Вот кого примечает всевышний, вот кому он дарит милосердно мир просторный, пустой и высокий, день недолгий у райских ворот.

Комар

Из каких — пискляв и мелок — занесло тебя миров, бич зелёных посиделок, отравитель вечеров.

Не расслабиться у пруда, не задуматься в лесу — всюду голос твой, зануда с тонким жалом на весу.

На ночь форточку закроешь — нестерпима духота, а измучишься — откроешь — снова ноет темнота.

Включишь свет — исчез негодник, а погасишь — милуй бог, — как настойчивый охотник, дует в свой несносный рог.

О, каким нездешним мукам обрекаешь ты людей, уязвляя острым звуком, неотвязчивый злодей!

Встал — ногой ударил об пол, взял — зверея — «Огонёк», всех как будто перехлопал — в красных точках потолок.

Но во тьме тревожной снова приближается, кружа, — как предвестие Иова против неба мятежа.

Ну, а ты не богоборствуй, а скучай и пой во мгле, постоянству и упорству мой учитель на земле.

Наташа

Искрилась звонками советская школа, и строили козни враги; задорно и чисто звала радиола в зелёное море тайги.

Ты помнишь, как песню в дороге качало, солдат на гитаре играл; как радостно сердце над миром стучало, когда миновали Урал.

Как всё промелькнуло!.. Сменила разруха гудящий сибирский размах; под мелким дождём ковыляет старуха в облезлый районный продмаг.

В грязи непролазной качаются доски, натянут платок до бровей, и ветер твои продувает обноски и свищет над жизнью твоей.

И скоро устало и неотвратимо последние смолкнут шаги... Бесстрастное море тебя поглотило, зелёное море тайги.

На улице

Хотя ошейник всё ещё на месте, заметно одряхлел и одичал, и смотрит глубоко из пыльной шерсти суровая, покорная печаль.

Он брошен был, или хозяин умер, но кое-как обвыкся и живёт; и я теряюсь в этом беглом шуме, и мне уже пора за поворот.

И пусть ясней с годами, что оттуда кромешным тянет холодом одним, кого благодарить за это чудо отжившим сердцем горевать над ним.

Среди галактик в стуже неизменной кружащихся бесстрастно и мертво, непостижимо посреди Вселенной в груди трепещет странное тепло.

И что мне в нём — суровом и лишайном, кочующем неряшливой трусцой; откуда в этом холоде бескрайнем печаль и нежность к участи чужой?

 $B.\Lambda.$

Как ты ворочалась в постели, как ты ласкала, не любя; я не встречал нигде пустее и равнодушнее тебя.

Но, как сбегала ты нагая в шумяшую прибоем мглу, как лука тетива тугая, пустить готовая стрелу.

Зверёк, попутчица, актриса... Но побежал бы за тобой, когда во славу Диониса звучат кимвалы и гобой.

Чтоб в дикой роще у залива среди обветренных олив настигнуть в ярости счастливой, легко на землю повалив. ...Когда снега засыпят Гомель, померкнет иней на окне, томясь в пустом и скучном доме, и то не вспомнишь обо мне. На исходе дня смерти вопреки прямо у огня вьются мотыльки.

Несколько минут (скоро их черёд) в воздухе ведут зыбкий хоровод.

В темноту летят искры от костра... Сокрушайся, брат. И кружись, сестра.

Жара

Настойчивой томит голубизною небесный свод, и всё сильней печёт; и время, обмелевшее от зноя, ленивее, медлительней течёт.

За трапезой вальяжные узбеки, степенно разместившись на полу, от наслажденья прикрывая веки, к сухим губам подносят пиалу.

Привычно им в полуденной истоме беседовать неспешно на ковре, всё на местах — жена и деньги в доме, Аллах на небе, дети во дворе.

Кружатся мухи над зелёным чаем, в пустых тарелках высыхает жир; привычный зной тягуч и нескончаем, и под высоким солнцем прочен мир. Причитала стройная в тетрадках тихим ветром, веющим в стихах, всё о перепутанных перчатках, хлыстиках, каретах, облаках.

О смиреньи ласковом в разлуке, о приливах воли мировой; и лились размеренные звуки в воздухе поры предгрозовой.

Но Нева туманилась свинцово, уводили сына в крестный путь, чтоб «упало каменное слово» на её «ёще живую грудь».

Чтобы в муке каменной — не Осип, не Борис — а все-таки она, бабий стон на хмурый ветер бросив, начертала века письмена.

Самурай

Застыл мятежный Якимоти верхом, с обветренным лицом, как памятник презренью плоти, суровым вырезан резцом.

Он и не думал об успехе при виде конницы вдали, когда киотские доспехи в лучах заката расцвели.

Играл небрежно удилами в перчатке грубою рукой; и били ангелы крылами, ликуя в небе над рекой.

Не дым кадильный в тёмном храме, не схима в кельях по лесам, но ясный взгляд на поле брани всего отрадней небесам.

Но самурай в закатном свете с рукой на холоде клинка, высокое презренье к смерти, как чей-то зов издалека.

Недаром легче шелест рая, и Господа нежней глагол, когда над шлемом самурая горит прощальный ореол.

Оттепель в Переделкино

Володе и Олесе

Если это зима — я её рядовой, я бреду в полусне после боя, и в тумане висит над моей головой безучастная, мокрая хвоя.

Завершали в бревенчатых этих стенах кто донос, кто поэму, кто повесть, и по свежему снегу скрипел Пастернак, поспешая на утренний поезд.

И я сам на пороге распахнутых дней, наспех правя в вагоне записки, пробирался с заветной тетрадкой своей на взыскательный суд олимпийский.

…В перелесках, где сыро и полутемно, поднимаются новые крыши, и под моросью серой смешались в одно: олимпийцы, воры, нувориши.

Хорошо, если в хаосе смутных времён миновали и пуля, и зона, под солидною хвоей средь громких имён ухватить свой глоточек озона.

Постареть от жестокой дороги наверх, козней рынка и прыти красоток, и дожёвывать вяло бессмысленный век в глубине огороженных соток.

...Здесь живой с поводком удалялся отец, за собакой неловко ступая; постигаю и я, как трудна под конец эта боль отрешённо тупая.

И хоть видел сквозь годы вдали мальчуган, что умрёт на руках у бумаги, тяжело уходить в равнодушный туман, озирая кусты и овраги.

И бессмысленно в мутный глядеть небосклон, по ледку продвигаясь устало, как в заснеженных Альпах измученный слон в поредевших войсках Ганнибала.

Песок

Здесь раскалённый добела тяжёлый зной плывёт, как будто жаром от котла из ада обдаёт.

В седле изнемогает плоть, стекает пот в глаза; на чреве — как сказал Господь — в песке ползет гюрза.

Никто участливой рукой не скрасит смертный час, и не слеза — песок сухой блеснёт у мёртвых глаз.

И побратается с песком сожжённый солнцем прах, и прошуршит невесть о ком песком

с песком

в песках.

Он дохнул широко и тревожно, и напомнил, что вечное есть, как в устойчивом доме острожном об амнистии зыбкая весть.

Он зовёт по весеннему хрипло, и несёт надо мной облака, пролетая над всем, что погибло и ещё не погибло пока.

Так поняв, что мечта отзвучала, — словно к доскам солёным прирос, провожает корабль от причала по волнам отходивший матрос.

Но, смотря в невозвратное море, и знакомой прохладой дыша, на свободы забытом просторе даром речи владеет душа.

Гомер

Настраивая лиру у прибоя, аэд струны касается тугой, и вот уже — изнемогает Троя, и бедный Гектор принимает бой.

Когда же пыль взовьёт за колесницей влачащееся тело мертвеца, восторг и ужас озаряют лица перед высокой дерзостью певца.

Как этот грубый панцирь черепахи и эти струны из овечьих жил оцепенеть их заставляют в страхе и вместе плакать у чужих могил?

...Сливаясь с ночью, море тихо плещет, как в чёрном хор бесстрастный и глухой; и жаль тебе, что странник этот вещий умолкнет за подземною рекой.

Ещё не скоро по глазницам впалым дрожь пробежит — и, дерзостный старик, припомнишь всё, вздохнёшь перед началом и под рукой нащупаешь тростник.

Кортанеты

Юрию Лохвицкому

Стол деревянный под навесом, речивых тостов череда, и между пиршеством и лесом спешит прозрачная вода.

На блюде лобио зелёный, левей — близнец его — шпинат; и ачмы пухлой пыл слоёный, и проперчённый маринад.

Душистой коркой загрубели индейки сочные бока, к ним грациозный сацибели добавит запах чеснока.

Сыр золотистый в хачапури чуть вяжет зубы и язык; с налипшей гарью — на шампуре слегка обугленный шашлык.

…Всё реже тосты поднимали, всё чаще пили без затей; в тарелках — тина из ткемали, засохшая среди костей.

Гортанная воркует фраза, но всё бессвязней разговор; однообразный голос саза, и склоны меркнущие гор.

Талжик

Михаилу Синельникову

В затрапезном халате в пронзающий холод потерялся в толпе одинокий таджик; что тебя занесло в этот мчащийся город, коченеющий, смуглый старик.

Тюбетейка неловко сидит на макушке, под заплечным мешком онемела спина. Где твоя Исфара у прозрачной речушки, в разомлевшей тени где твоя чайхана?

Спотыкаясь в истоптанной обуви жалкой, по столице, посыпанной солью, бредёт и беспомощно тычет дорожною палкой в ускользающий лёд.

λида

Чуть полновата и широкоскула, на побережье всем была чужой... Как улыбнулась и рукой взмахнула, когда отчалил катер небольшой!

По цвету глаз ты блузку надевала и подводила неумело бровь, но и по вечерам не волновала парней вином разогнанную кровь.

Скажите мне — зачем, безмолвно воя, в последний день, по выжженным камням я нёс за ней пакет с морской травою и старомодный этот чемодан.

И больше всех легенд и всех пророчеств был этот миг — прощания в порту, и двух необозримых одиночеств покачивало море немоту.

Жизнь проживёт, и где-то в землю ляжет; и дням моим незрячим вопреки меня от ада, может быть, отмажет прощальным взмахом маленькой руки.

Но я заметил — лишь её отправил в объятия морского ветерка, как на причале что-то шепчет Павел, и тихо улыбается Лука.

На болоте

Через жижу на болоте не проедешь, не пройдёшь; будит топь во всякой плоти отвратительную дрожь.

Куликам грозя бедою шевелится каждый пень... Кто там воет под водою? Чья над тиной стонет тень?

Кто крадётся тропкой тайной, но травы не мнёт покров? И страшатся ошептанья у замшелых валунов.

Кто весь день летел с депешей, но коня не уберёг, и кого угрюмый леший под корягой подстерёг?

Всё мрачнее в день условный долго ждал с ответом князь... Стонет призрак невиновный, сокрушаясь и казнясь. Бродит — губы он кусает — с окровавленным плечом и пакетом потрясает всюду с красным сургучом.

Ислам

Великий Бог покорности и лени, легко и просто я тебе молюсь, глаза закрою, встану на колени, над пыльною циновкой наклонюсь.

Давно Христос рассеян в добродетель, и Яхве дремлет в свитках старины, и лишь Аллаха страждущие дети живым огнём его опалены.

В сердцах пророка голос не стареет; и над землёй, играя, как дитя, моя свобода радостная реет, в покорстве року волю обретя.

Новорязанская

Тане

Может быть, позабудется скоро, и теперь не припомню уже там поблизости клуб или школа... Но окно на втором этаже!

Но устойчивый лестничный запах на площадке, где полутемно; пара стоптанных войлочных тапок и телячьего счастья тепло.

Поздним вечером в зимнюю слякоть под окошком вздохни о судьбе, только сердце в потёмках царапать — вот и всё, что осталось тебе.

...Там опять у подъезда Степаныч собирает друзей на троих; и приходят троллейбусы на ночь отдыхать от маршрутов своих.

Мимолётное

Раньше б поспешил за нею шуткой счастье попытать, но с годами всё грустнее; всё труднее и труднее этой грусти изменять.

Басё

Ветер плечи твои согнул, истрепал соломенный плащ; под его сиротливый гул слушай цапли осенней плач.

Говорил о судьбе монах у теченья большой реки; и качаются на волнах облетевшие лепестки.

До селенья двенадцать ри, там заждалась тебя родня; на холодной заре замри перед белым простором дня.

Незаметно промчался век, и слились впечатленья лет; и заносит летящий снег на снегу одинокий след.

Далёкое

На пятачке ещё свободно, и праздным взглядом смотреть отрадно и дремотно на море рядом.

Там солнце медленно садится, и от литфонда волна безвольная искрится до горизонта.

И чайка реет и ныряет, и вечер ясен, и лёгкий ветерок гуляет среди балясин.

И Рюрик шкиперской бородкой трясёт над палкой, любуясь худенькой и кроткой провинциалкой.

А рядом Миша по аллеям бубнит и бродит и, дирижируя хореем, рукою водит.

Там, где, сливаясь воедино, над парком вьются цветы сирени и жасмина и в сердце льются.

И только где-то за шанхаем томленье мая недолгим оглашает лаем сторожевая.

Ещё далёко шум досадный и дым мангальный; и ты глядишь в простор отрадный на профиль дальний.

λюк

Прощай, мой добрый, старый Люк! Недолго нам тулять на свете, моих свиданий и разлук неразговорчивый свидетель.

Гудит приморский городок, валютой набухая твёрдой, а ты, как прежде, одинок с огромной и печальной мордой.

Лежишь от гульбища вдали, упрятав в тень от солнца темя, и чуешь близко у земли, как ровно протекает время.

Лишь ты, философ и поэт, глубок, спокоен и свободен, вздохнёшь со мной на склоне лет о том, как скоро мы проходим.

Монах

Илье Смирнову

Солнца назойлив диск, спины черны людей, чавкай в грязи — трудись, скоро сезон дождей.

В пряный и влажный зной выйдет просить в домах выбритый и прямой в жёлтом плаше монах.

Сторбился в поле труд в полчищах мошкары; снова его гнетут тягостные миры.

Сколько бы ни пришлось странствовать без конца, он их пройдёт насквозь, не расплескав лица.

Там, где великий лёд высится над плато, нежно его зовет царственное ничто.

Он соберёт еду, в сонный вернётся храм; скоро и я уйду странствовать по мирам.

Малеевка

Когда у далёких и зыбких развалин ищу уцелевший в тоске островок, светло и мучительно я благодарен за чистый на узких дорожках снежок.

За все в биллиардной игроцкие шутки, дешёвый портвейн и дуплет от борта; и лёгких студенток короткие шубки и радость, и робость, и пар изо рта.

За то, что похмельный, с больными глазами, томясь маятой и бессильем веков, в потёртой фуфайке в пустом кинозале на гордом рояле играл Росляков.

За лёгкость скольженья на лыжах казённых, и чувство: прибавить чуть-чуть — и взлетишь, за ветер и волю в полях занесённых и звёздных прогулок хрустящую тишь.

Такие в сугробах застывшие липы я в будущей жизни уже не найду и эти навстречу спешащие скрипы по мягкому снегу, по чуткому льду.

Бывает жизни жаль немного: уже свободная река бежит — и всё острей тревога, быстрей и ближе облака.

Когда над ярким парапетом стоишь с открытой головой и обдаёт летящим светом студёный ветер над Невой.

И по искрящимся кварталам под беспощадною весной бежишь с томленьем запоздалым о жизни свежей и сквозной.

Пока твоя необратимо бессильно тает вдалеке последней серой, грузной льдиной на обновившейся реке.

Ведь не зря предупреждали, это тягостный транзит, от толкучки на вокзале трупным запахом сквозит.

От газетного киоска блудным зудом и тоской, от высокого подростка зоркой хваткой воровской.

Догрызай своё печенье на заёрзанной скамье, впредь — до пункта назначенья лишь качанье в заключенье по железной колее.

Где ложатся в такт качанья сожаленья, забытьё и в стакане ложки чайной дребезжащее нытьё.

Где прошлись по перелескам зубы острые пурги, где за жухлой занавеской не видать уже ни зги.

Виктору Голышеву

Так медлит снег, хотя пора настала, так беркут набирает высоту, так мчатся мимо станции составы, тревожно громыхая на мосту.

Так дух свободный формы сторонится, так ветер моря в сети не поймать, так замирает белая страница в сомненье слово первое узнать.

Так победитель Ганнибал при Каннах, глядит в огонь, неведомым томим; и поутру среди холмов туманных встаёт к войскам — и не идёт на Рим.

Так, может, сам Господь всего вначале, создать решивший земли и моря, чего-то ждал в возвышенной печали и медлил всё — и, кажется, не зря.

Проснуться в детдоме районном, и сразу в сознанье всплывут слова в уголже потаённом «Сегодня за мною придут».

В унылом приёмном покое уже от палат вдалеке заждавшейся мокрой щекою прижаться к шершавой щеке.

Детдомовской жёлтой дорожкой и дальше... идти без конца, касаясь счастливой ладошкой широкой ладони отца.

Скрипачке Вите

К исходу лета высыхает Крым, ленивый зной стоит над побережьем, не так ли мы — и алчим, и горим — а после тлеем, позабыв о прежнем.

Уже вечерним золотом горят наплывы волн в чепцах усталой пены, уже торговцев говорливый ряд везёт товар и выставляет цены.

А девочка опять бежит к воде, над галькой ходят острые лопатки; хоть век броди — но нет тебя нигде, одни лотки, купальни и палатки.

Осталась лишь улыбка у смычка восточных глаз то хмурых, то лукавых; земля суха, как память старика, в безжизненных и помутневших травах.

Домой

Came

1

В нескончаемом плаваньи тянется нудно пузырящийся след от руля за кормой, и тоска в парусах одиссеева судна заводила рассказ о дороге домой.

И летел от зубами стучащих отсеков, словно азбука Морзе, бескрайней зимой на осипшей побудке — забывшихся зэков ускользающий сон о дороге домой.

Никуда не уйти на прогулках усталых от пустых угрызений и муки немой; опадающий листик в парижских кварталах, и дряхлеющий вздох о дороге домой.

Я ещё по тропинке притоптано-твёрдой, по сырому снежку в запотевшем лесу до заветной калитки со старой щеколдой дратоценную нежность свою донесу.

И в нахлынувшем мае терпенье утонет, там, тде к столику лист прошлогодний налип, где в безумьи салатовом бродит и стонет изнывающий запах проснувшихся лип.

И в сухом увяданьи с улыбкой неловкой в отдыхающем воздухе светло-пустом добреду до берёз с бельевою верёвкой и собаки навстречу с неуёмным хвостом.

Как я любил сугробы эти, покой застывших берегов, скрип на дорожке в лунном свете сосредоточенных шагов.

Чего ещё просить у Бога, когда блажен и одинок: простая, белая дорога и чистый, звёздный холодок.

Помедли на мосту у пруда, под ясной бездною замри: перенесись ко мне оттуда, меня по крохам собери.

От этой жизни мутно-серой, упрямой спячки и стыда к истокам мужества и веры веди меня через года.

Как Моисей к вратам Синая в песках сомнений и невзгод, высокий посох поднимая, вёл маловерный свой народ.

Снежинки

Как медленно листья ложатся в бессмертную слякоть земли, и скоро уже закружатся под небом родные мои.

Тогда перехватит дыханье, и ветер на время замрёт, и мир осенит их порханье, их лёгкий, безвольный полёт.

Рассеянным, медленным роем витают они надо мной и будто небесным покоем касаются муки земной.

Как будто рукою прохладной коснулись горячего лба, и в этой мелодии плавной теряются жизнь и судьба.

Козловский

«Я встретил вас...»

Уже последняя дремота безволит дряхлые виски, а он из сердца тянет что-то, привстав над миром на носки.

На сцене седенький и ветхий дрожит слабеющей струной, тоскуя ввысь, как птица в клетке о прежней свежести лесной.

В пережитое тянет руки и в звук перетекает весь о том, как тяжело в разлуке со всем, что отзвучало здесь.

Содержание

Апрель5
«И ревёт, и лижет вол»6
«Он проходит походкой упругой»
«Был стройный мир»8
Замерзающий бомж9
«Жить невозможно в тупом постоянстве» 10
«Как живётся, крошечка»12
Павел14
«Что толку в дачах и копилках»16
Утром18
Комар19
Наташа21
На улице22
«Как ты ворочалась в постели»23
«На исходе дня»25
Жара26
«Причитала стройная в тетрадках»27
Самурай
Оттепель в Переделкино30
Песок 32

«Он дохнул широко и тревожно»
Гомер
Кортанеты
Таджик37
λида38
На болоте40
Ислам42
Новорязанская
Мимолётное
Басё
Далёкое
λюк48
Монах
Малеевка51
«Бывает жизни жаль немного»
«Ведь не зря предупреждали»
«Так медлит снег, хотя пора настала» 54
«Проснуться в детдоме районном»
«К исходу лета высыхает Крым»56
Домой57
«Как я любил сугробы эти»59
Снежинки60
Козловский

